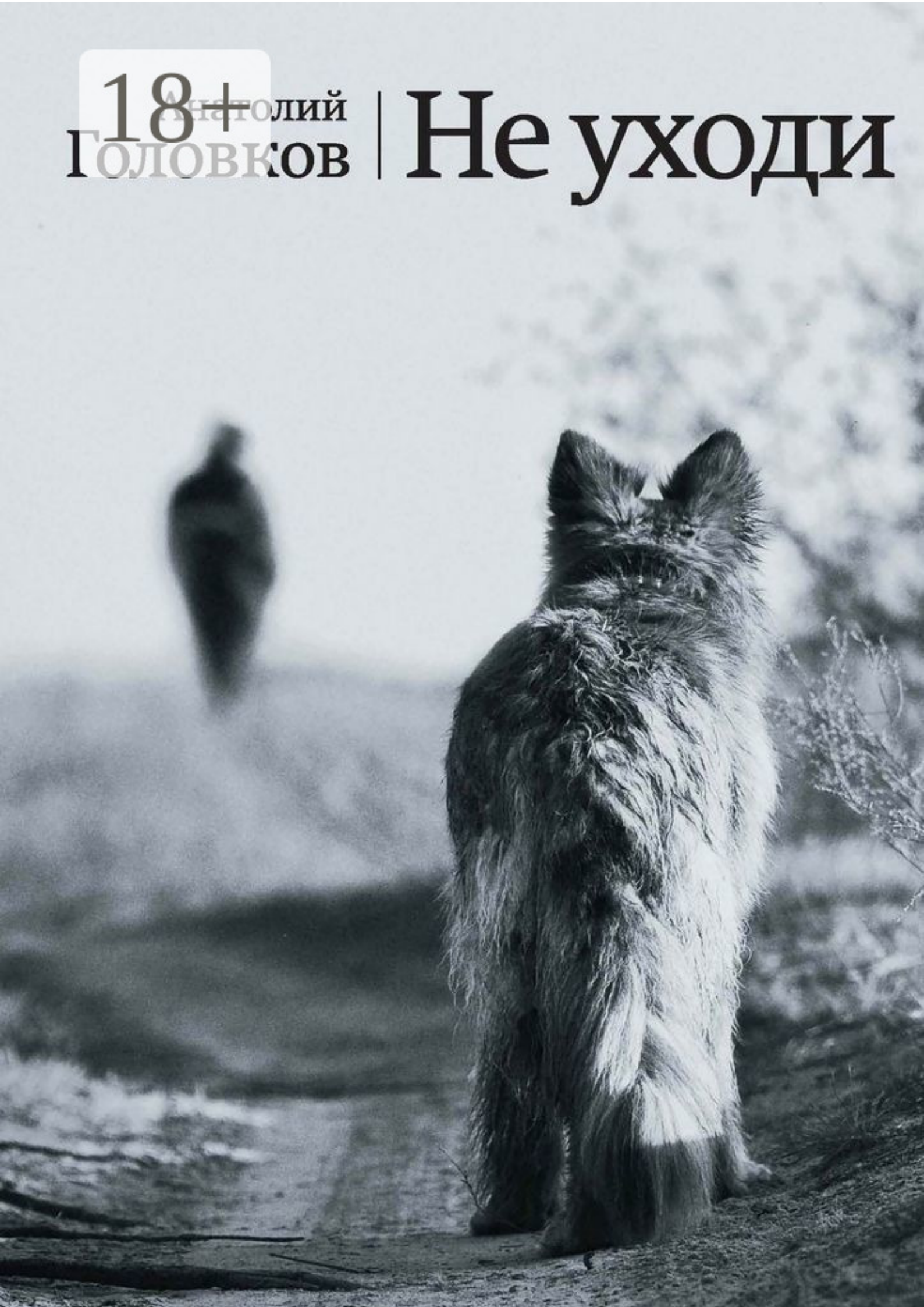


18+
Анатолий
ГОЛОВКОВ

| Не уходи



Анатолий Головков

Не уходи

«Издательские решения»

Головков А.

Не уходи / А. Головков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-965249-2

«Не уходи» — это не роман. Это состояние души. Это такая заморская птица с перьями — и все разноцветные. Как рассказы из этой книжки. А еще точнее — лоскуты бабушкиного одеяла. Вот лоскут из дедушкиного галстука, вот из маминого сарафана, вот из папиной гимнастерки, — за каждым история. А в самой большой истории, поэме «Полуостров», главным героем получился Казантип. Так что и вы не уходите, побудьте рядом, может, понравится... Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-965249-2

© Головков А.
© Издательские решения

Содержание

Архипелаг Крым	6
Мои	9
Шляпа	9
На край света	11
Охота на варенье в шаббат	12
Воскресенье	13
Кина не будет	14
Евгешка	15
Сашка	16
Комбат	18
Ядрён корень	19
Касля и пеликан	20
Фугас	21
Пенициллин	22
Барыня рыба	23
Невшуткузанемог	24
Звук сердца	26
Банька по-белому	27
Златые горы	28
Ба	29
Теплый бок	30
Бывай!	31
Знать бы	33
Спроси у серого	34
Пирожки	35
И больше никого	36
Мишель	37
Всегда со мной	38
Еще позовут к чаю	39
Доверчивый мир	40
Кино	41
Фея Танька	42
Примадонна	43
Синяя жилка	44
Таки ладно	46
Офелия	47
Время	48
Издалеку теплее	49
Скрип-скрип	51
Блюз в пустыне	52
Кари	53
Слушать	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Не уходи

Анатолий Головков

Корректор Елена Воронова

Фотограф Татьяна Нерикова

Дизайн Андрей Бондаренко

© Анатолий Головков, 2019

© Татьяна Нерикова, фотографии, 2019

ISBN 978-5-4496-5249-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Анатолий Головков

Архипелаг Крым

Крым, наверное, самый лакомый кусок русской литературы... Здесь начинался гений Пушкина, тут он завидовал волнам, тут молодой артиллерист граф офицер Лев Толстой увидел в час Крымской войны в небе над Севастополем в клубах пушечного дыма контур будущей эпопеи «Войны и мира», здесь романтик Александр Грин расселил вдоль крымского побережья свои выдуманные города Лисс и Зурбаган, аналог Средиземья Толкиена... Короче, писать про Крым большой риск, и Анатолий Головков рискнул и решился на это!

Его книга – новая большая удача русской прозы... Как ночная летучая мышь среди звезд, как медлительный шмель над цветами, как исполинский бражник над крышами, автор облетел полуостров, набитый людьми как старый автобус и услышал, подслушал, упился допьяна народной речью и записал эту речь кратко сжато, как цепь почти анекдотов, историй, случаев, происшествий.

Именно Речь, услышанная таким умным слухом стала главным украшением рассказов. Золотая цепь жизни. Она, как волшебная цепь Лукоморья, обвила морскую царевну русалку. И фыркая, рыжим котом расхаживает по той цепи наш писатель.

Бог мой, каждый рассказ предельно сжат, сад превращен в горсть зерен граната, облако – в орех, море – в песчинку, прилипшую к ноге. Но стоит только поднести к глазам эту горькую каплю крови, этот бриллиант граната, как перед тобой словно под увеличительным стеклом раскроется пестрая, шумная, говорливая, бестолковая судьба десятков людей нового времени...

Тетья Фи́ра, которая смачно торгуется на базаре с бабой по кличке Морпеха за щуку, старик башмачник Григорян, мичман Карпенко, хипстер-девица Ника, обритая наголо, таксист Карл Штраус, баба по кличке Аська Вертолет, зубной техник Крысько... На первый взгляд, карикатуры, рожи да жопы, забавные персонажи, простаки, люди из толпы.

Между тем, их судьбы как ожоги!

Тетья Фи́ра, она же Эсфирь Гольденберг, купив с руганью рыбу, вернется на больных ногах в пустой дом, и в пятницу к шабату приготовит фаршированную щуку. Зачем ей целая щука? А затем, чтобы зажечь свечи, поставить страшное угощение на пустой стол, накрытый для шестерых фотографий, все любимые давно там, за роковой чертой бытия...

Банщик стал колдуном и лечит несчастных баб от сглаза и любви...

Таксист Карл родился в Дахау, получил, как жертва Холокоста, отступные от Европы, только-только зажил на законные евро, как нечаянно сбил на дороге девчонку, струсил, сбежал с места аварии, и хотя девчонка осталась жива, но стала инвалидом, и кончилось короткое еврейское счастье, пошел бойкот таксистов, ненависть, вот и приходится возить проститутку, хорошую бабу, кстати, которая от нужды занялась роковым ремеслом, и вот стоит наш Штраус-таксист на дождичке, уступив машину клиентуре, мокнет, курит и горько спрашивает сам себя: за что мне?

Чем старше народ, тем больше в нем печали, пишет рассказчик...

А кульминацией этой горькой кутерьмы человеческих судеб стала планида юной Люсинды, которая смогла, к ужасу матери и соседей, полюбить молодого безногого инвалида, которого бросила жена после страшной травмы в порту, и вот Люсинда утоляет мужскую плоть, сидя подарком судьбы верхом на калекке в постели и плачет, плачет (вместе с ним) и слезы ее, как крупные бриллианты катятся по плечам густой крымской ночи, под треск цикад.

Анатолий Головков по призванию поэт, бард, романтик, и тут, в книге прозы он тоже остается поэтом, потому что его рассказы – это по сути сжатые до плотности свинца лириче-

ские стихотворения, анекдоты-баллады, повести размером с реплику, песни в стиле фолк, чуть сквозь зубы, с банкой пива в тени, на земле.

Он видит сутолоку Крыма глазами поэта: солнце сквозь парусину, как абажур... Детские мордочки как подсолнухи, что поворачиваются в его сторону.

Такими бликами солнца и лунными пятнами усыпана вся даль повествования.

Он плачет, целует, кусает, материт, жалеет и жалит.

По степени краткости и сжатости смысла его проза в русле прозы Довлатова и отчасти Бабеля, только она наполнена новыми травмами века: эхом от войны в Косово и в Афганистане, а теперь вот и боями Донбасса.

Эту горячую страстную плоть картин, историй, диалогов и баек то и дело пронзает лирическая исповедь автора, страсти стихают, слышны мысли, которые звучат как тихий перебор гитары, эта речь про себя, речь отступлений полна моральных открытий, например, вот таких: целебная речь – мазь от ожогов жизни. Или: там живет лошадь, которая успела к тебе привязаться, как же без нее?

Полуостров Крым стал лошадью поэта, ношей, скалой, морем,
к которому привязана морским узлом, как шаланда к причалу, душа поэта.

И вот пока не забыл...

Сочувствие к людям – редкий гость в нашей литературе!

Глотками сочувствия полна книга, которую ты взял в руки, читатель. Эта не просто бумага, а полная чаша.

Настрадавшись с героями, автор запирает на ключ свой крымский дом и возвращается в Москву, туда, где когда-то родился. Туда, где жива его память в доме на Пятницкой, которого нет. Выйдя из вагона и попав в столичную толчею 15-миллионного русского Мегалополиса, поэт в белой куртке чувствует себя одиноким чужаком среди людей сплошь в черном. Он не знает, туда ли вернулся и где его дом – в Москве или всё же в Крыму, который стал новым Архипелагом России?

Эх, выпить бы, поговорить по душам хотя бы с тем мужиком-бедолагой, которой кинулся на его сочувствующий взгляд, как моряк на маяк, да вот незадача, полицейский притормозил прыть мужичка с рюкзаком (таким же как у поэта). И требует показать паспорт, стоп машина... И поэт спрашивает сам себя – сцепившись взглядом с тем мужиком из метро: *так всё мое неловкое прошлое смотрит на меня из той темноты.*

Книга Анатолий Головкова большая удача.

Она – думаю – будет интересна читателям России, Крыма, Украины, читателям Европы и Америки.

АНАТОЛИЙ КОРОЛЁВ, писатель, член Пен-клуба, лауреат итальянской премии Пенне, премии академии русских критиков АРСС, премии Москвы и др.

Если ты бросаешь меня, а я не бросаю тебя, это все равно прощанье.

Не разжимай пальцев. Не отпускай руки, лапы кота, собаки. Не отпускай смычок.

Прикрой портьеры, створки окна.

Если ты остаешься, а я ухожу, это не всегда удача для нас обоих. Не обязательно благо, лишь перекресток. И стоит ли – во имя необозримых, неведомых перемен?

Может быть, не переворачивать валун, и тут ему самое место?

Не оставлять дом, что был дорог, – ибо некому будет заплакать по тебе. Не выдирать из нотного черновика страницу для гальяна.

Стоит ли бросать в топку рукопись, если тебе или кому-то кажется неудачей. Разве, когда писал, не слышал голос? Или лгал, что слышал? Тогда заслужил, жги.

*Может быть, не нужно сходить по трапу, если не твой берег, хвататься за карабин,
отворять любую дверь.*

Или наводить порядок на чердаке.

Но что если вон тот хлам завещан именно тебе.

Поздно потом свистеть в оба пальца на поле разора, никто не придет.

Мои

Шляпа

Накануне Судного дня дед, глядя на мои чумазые щеки и рваные штаны, говорил: придется сказать правду. Мне и Всевышнему.

И лил в таз хрустальную воду из кувшина: наклоняйтесь, сударь.

Вода лилась по ушам и за шиворот.

Какую правду, дедушка Берко?.. Ну, как же, майн тайерер (мой дорогой). Связался с Колей Петровым. Нашел себе идеал! Он же второгодник. Дерется с матерью. Трясет грушу старой тетушки Фиры, своих мало... А с кем мне дружить-то, дедушка?..

Берко вытирал мою башку льняным рушником.

А вот у Трахтенбергов! Такие мальчишки! Такие катцеле (котики)! Кадик играет на скрипке! Леончик рисует! Почему ты с ними не дружишь?

Эх, знал бы он, что как раз очень дружу! С этими «катцеле» мы давно спелись. Лазали по садам. Подбирали окурки у кино «Родина». Подсматривали через шелку, как моется домработница Неля. Собирали порох в лесу – то кругляшки с дырочками, то палочки – и бросали в костер для потехи.

Кадик тоненьким голосом пел блатнягу за мороженое, а Лёнька разрисовывал заборы похабщиной.

Но я не мог признаться в этом дедушке Берко. Я понимал, что он ничего не скажет Трахтенбергам, но сильно расстроится.

Стрекотали цикады, и пахло табаками.

На кухне бабушка уже укладывала в форму морковь, порезанную «свистульками», клюкву, чернослив и орехи. Вздыхала, что не достать апельсин. Дед поливал вишневым ликером, ставили запекать...

А потом за домом в плетеном кресле под вишней рассказывал о Древнем Риме, цитировал Тацита по-латыни.

И вот родня из местечка собиралась за столом. Просили друг у друга прощения. Я не понимал, за что. Я ждал цимес. А получив, растягивал удовольствие, вслушиваясь в идиш.

Еще они говорили: «До встречи в Иерусалиме!»

О моем великом деде наверняка записано в Книге жизни.

Вот он вышагивает в натертых мелом парусиновых туфлях, льняном костюме и канотье по Гнивани, держа спину прямо, как лорд.

Он ведет меня за руку, на базар.

Жарко, хочу ситро, дедушка... Хорошо. Как будет ложка по-украински?.. Столова ложка... По-немецки?.. Esslöffel. По-английски?.. Tablespoon... По-французски?.. Не знаю... Значит, обойдешься без сиропа... Греческий бог войны?.. Арес... А богиня юности?.. Артемида... Нет, Геба... Ладно, с вишневым сиропом... А самый главный бог у греков?.. Сталин... Хм-м... Да?.. Ну, тогда терпи до колодца...

Но почему?! Ты еврей. Ты не имеешь права ошибаться.

Между тем вода из колодца была вкусной, не хуже газировки для ситро, острой и отливала чистым серебром. Таким же, что отняли нацисты у родителей деда в сорок первом, а самих стариков закопали заживо.

Здоровеньки булы, Берко Йонтеlevич!..

Деда приветствовали так часто, что, казалось, все местечко состоит из его учеников. Наверное, так оно и было. Да-да, скорее всего...

Выпускник Петербургского императорского университета, школьный завуч, был галантен и строг. Он касался шляпы и чуть заметно кланялся, мой великий дед. И лишь иногда снимал шляпу, улыбался и прижимал ее к груди.

В девяносто он стал похож на белого ангела.

В девяносто шесть умер во сне.

А я все еще вижу его, слышу, чувствую щекой жаркий запах цветущего табака в палисадниках местечка.

Ты когда-нибудь купишь мне шляпу, дед? И научишь, как надевать?

Сначала научись ее снимать.

А когда нужно точно снимать?

Когда даешь клятву...

На край света

Если тебе шесть, в трамвай тянет, как магнитом.

Зажав в кулаке три копейки, я было шагнул на подножку.

С другой стороны, на эту сумму можно купить ситро. Или плетёнку с маком. Запросто. А если еще две копейки – и альбом-раскраску.

Но сильнее желания прокатиться был страх получить ремня от деда. На днях уже получил, вспорол обивку на стульях, искал бриллианты.

От одной этой мысли уже саднило задницу.

Во мне прорезался внутренний голос.

Он сказал: трус. Помнишь, как ты приставал к бабушке, мол, куда едет трамвай от нашей Киевской, и она сказала, что на край света? Разве тебе не интересно узнать, что там за край и не свалится ли с него вагон?.. Дико интересно! Но как же дома?.. Запишут в без вести пропавшие... Ладно, если зассал – лучше вали к бабушке!

Я то ставил ногу в сандалике на подножку, то снимал, мешая людям.

Наблюдавший за этим матрос в шикарных клешах и бескозырке, обхватил меня ручищами, оторвал от матери-земли и засунул в вагон.

Слушай, малец, сказал он, грозя пальцем. Если что-то решил – не сомневайся! Никогда! Понял? И шлепнул по стриженному затылку.

Трамвай дернулся, застонал, заскрипел, дал звонок и повез меня на край света.

Охота на варенье в шаббат

На вишневое варенье хорошие еврейские дети выходят после полуночи. И не еврейские тоже. Замри, прислушайся. Убедись, что все легли.

Берешь из-под подушки ложку, припрятанную с ужина. Ступаешь босиком, с ложкой наперевес, как разведчик из фильма «Звезда».

В темноте вишневое варенье может притвориться клубничным. Но фонарик зажигать опасно. Фантик, приклеенный к банке загодя, точно укажет цель.

Увидев тебя в ночной рубашке, другие банки могут подумать, что ты привидение, и поднимут панику. Пригрози им серебряной ложкой, они ее боятся.

Если дверца шкафчика скрипит, посплюнь петли, потом открывай, не бойся. И наслаждайся, киндер! Отъедай варенье с одного бока, не до дна. И не накрывай крышку – пусть думают, что мыши.

Когда утром дедушка Берко посадит тебя на колени, не икай, а то все поймут, поставят в угол, а потом не возьмут на речку.

До сих пор встречаются такие тайные чуланы, заглянешь, а там другое время. Залезаешь обычной ложкой – глядь, а она уже серебряная. На крышке чернилами по тетрадному листку в клеточку: имя и год.

Варенье вишнёвое, вязкое, чуть горьковатое. Как раз для пирога флудн: коржи на семечковом масле, с медом да орехами.

Косточки вынимать садились в кружок перед тазом. Машинку медную, на пружине, бабушка Мойра никому не доверяла, и мама с домработницей Нелли орудовали шпильками.

Богато вишен, все ими усыпано.

С виду и не вишни даже, так черны, будто огромные смородины.

И смолы янтарной на каждом дереве, жвачка пацанам, чтобы меньше папиросы у клуба стреляли.

Солнца полный двор, трещат цикады, бормочет радио, то березка, то рябина. И так спокойно...

Цедят наливку в бутыль. Парчовая струя тяжела. Пьяные вишни – швырк во двор.

Берко, смотри, милый, чтобы гуси снова не склевали. А то в прошлый раз – на спину, лапы вверх, думали, померли. Ощипали, а они орать... Я потихоньку, Мойра!

Вишнёвые голоса дома.

И сейчас слышу: не трогай банку, испортишь варенье!

Все переменится тогда, все закончится, все уйдут, и останешься один.

Только сквозняк будет раскачивать занавески.

Воскресенье

Только и слышно – хлеб вреден.

Тогда, о чем же нам Шмелёв? «С хлебушка-то здоровее будешь, кушай. И зубки болеть не будут. У меня гляди какие! С хлеба да с капусты».

Делали русские хлеб на крестьянской закваске из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы. А пекли такие караваи, что нынче и не сыщешь – хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой, с изюмом, пеклеванный.

Помню из пацанства своего, как же, – проснешься, а по всей избе запах кислятинки, это опара греется.

Вылезать из-под перины неохота.

Но видно через проём в ситце – мука ржаная, только что смолотая, ручейком через сито сыплется. Женские руки тесто замешивают. Любящие руки.

На стеклах пушкинский мороз.

А там уж печка начинает трещать да побряхтывать, но далеко еще до хлеба.

Вот прогорят дрова, головешки кочергой в сторону, и лишь тогда хлебы посадят. И будет тебе, сынок, пахучий ломоть с хрумкой корочкой, стакан молока топленого с пода.

А в школу мне не надо. Вот так, ясно вам? Воскресенье!

Наелся и на речку.

Где снег со льда смело, он прозрачно-зеленый, бутылочный, через него – все до дна.

Если лечь на пузцо, может, повезет, и увидишь в речке спину сонной рыбины.

Кина не будет

Пап, только по голове не бей...

А сколько раз отец может тебе повторять, что слово «литература» пишется не через два «и», лйти, как тебе кажется! А через «и» и «е», – лите!.. Ах, тебе, засранец, все равно?! На русскую грамматику, стало быть, тебе наплевать?! Видать, по хорошей трепке соскучился!.. Что значит, ты больше не будешь, бездарный ублюдок! Бери тетрадь и напиши это слово триста раз: литература, литература, литература!

И никакого кина в половине пятого!

Евгешка

Говорили, что чуть старше года я переставал капризничать, когда слышал музыку по радио.

В два – стоял под дверью соседки на Большой Калужской, учительницы музыки Евгении Петровны.

А с нею у родителей было напряженно. Они боялись, что она прищемит мне башку или пнет дверью, и гнали домой.

Однако в три Евгешка пустила меня в свой эдем, где стоял черный бегемот с белыми зубами, «Красный Октябрь»: ну, играй, Моцарт, мать твою!

Я тут же стал тыкать одним пальцем то, что любил.

Евгешка закурила «Казбек» и удивилась: она это тоже любила из-за убитого на войне мужа.

И мы запели, прокуренным альтом и дискантом: «Вот солдаты идут/По степи опаленной, /Тихо песню поют/Про березки да клены, /Про задумчивый сад/И плакучую иву, /Про родные леса, /Про родные леса /Да широкую ниву».

И тут она вдруг: заходи и играй, когда хочешь... А мама разрешит?.. Я сказала, придурок, я не буду запирать.

Через два года у Кирилла Молчанова, автора музыки, родился сын Владимир Кириллыч. Мы с ним, так случилось, дружили.

Теперь я думаю о том, что солдаты все еще идут, сквозь нас с Володей, по степи опалённой, и мимо, куда-то в облака, где находится Евгешка.

И наши с ним отцы вокруг нее летают, а мы все еще живы, делаем, что умеем, и пытаемся вести себя так, чтобы им за нас не было стыдно.

Сашка

У деда моего Якова Васильевича был друг ракетчик. Вот они перемигиваются, да в конец участка, к пруду. С тайной поллитровкой, хлебушком, салыцем, а лук-то и укроп уж росли под руками. Граненая сотка на сучке.

У меня застряла модель планера, и я замер в крыжовнике, как кролик, чтоб не застукали.

Старики выпивают, бубнят: Петя, ты себе до краев, а мне половинку, язва... Ну, дык, ох, так, что ль?.. Угу. Ну, будем... Дзынь-дзынь... Об Усатом ни звука... Да сдох ведь уже!.. А вот Никита был волюнтарист, кукурузник, мать его... Хрум-хрум... Ножик подай, я со шкуркой не люблю... Отчего хлебушко на воздухе такой вкусный! Как из печи, помнишь, у нас на Дону? Ух!.. Кукурузник, зато Никита тебе генерала дал. А этот хрен с бровями – тока своим! Сукины дети!.. «Правду» читаешь? И откуда повывлезали? «Малая Земля», сук кленовый!.. Тише, Петь, дети услышат.

На лето дед уступал Петруниным полдома, брал, сколь им ни жалко, на мелкий ремонт-тишко, – они друзья еще с гражданки.

Петрунины вдруг усыновили семилетку. Слухи ходили разные, но по правде жена дядь Петина слышала голоса, дважды ее вынимали из петли. Поэтому решил пацана взять.

Либо жену в дурку: надо же спасти родного человека? Яков ворчал: смотри, Петя, своих растишь, творят хрен чё, а тут чужая кровь.

Но жена повеселела. Принялась детдомовца обшивать, свитер на спицах, все для Сашки. Велик? Пожалте. Наняли еврейку, на пианино учить, долбил этюды, заскучал, повели на баян.

Дядь Петя при застольях пацана звал показывать, обнимал за плечо, ну-кысь, говори, сынок, как твоя фамилия?.. Не забыл?.. Тот крутил глазами: отстаньте!.. Петрунин ты!

Но тут жена снова услышала голоса. Теперь они ей точно сказали, куда генерал препрепратал трофейный Solingen.

Когда Сашке стало шестнадцать, генерал Петрунин припомнил слова Якова. Пацан пил, а выпив, старика поколачивал. И начиная с пианино, именной сабли от комдива до шахмат из родонита – все пропил.

Дядь Петю не на что было бы хоронить, славному, военком помог, проводили с почестями Сашка продал квартиру на Чистопрудном да исчез.

Много лет мы не слышали о нем. На обоях осталась фотография мальчика на коленях отчима – с ангельским личиком и решительными зрачками.

И вдруг появляется – в камуфляже, берцах, усы ниточкой, на лбу шрам. Сашка или нет?.. Отсидел пятерку за вымогательство и разбой, записался в Приднестровье, потом Чечня.

Накрыли стол – ведь не чужой. Просил в долг, давали так. Но потом зачастил, с бутылками, баяном, девками из Апрелевки.

Его перестали пускать, малыш пугал. А он все равно приходил, стучал ногой по воротам – что же вы, суки, меня бросили! Я же брат вам! Это и моя дача, я тут вырос! Давайте делить по совести! Или по суду!.. Перед тем, как снова канул в чужие войны, появлялся то в электричке, то у прудов, то в теплицах.

Как будто, куда ни ехал, где бы срок его ни морочил, в кого ни стрелял, – все тянуло его к дубам, запаху жухлых листьев, дедовской антоновке у крыльца.

К старому дому нашему из пережженных кирпичей, да к террасе с резными окнами.

Комбат

Федор Иваныч получил обморожение ног на Финской, комиссовали подчистую. Но тут немец попер, и он снова покатил сорокопятку по снегу и грязи. На Рейхстаге нацарапал: «Получите сдачу, суки!»

Ордена у него потом украли, уцелел десяток медалей. Ноги ампутировали.

Но военкомат на День Победы упорно дарил старику одно и то же: гвоздику, открытку, одеколон «Шипр» и носки.

Варечка, отдай носки Толяну, у нас один размер! Не-ту!.. Был у тебе размер, да весь вышел! А носки и нам сгодятся. Старик матерился. Умел он это, как никто – будто плел корзину: эх, да растриебонежить твою квадратно-гнездовым способом тримудосиротского полка броневой ягодь...

Одеколон он выпивал сразу. Носки жена несла к метро.

Дед смотрел через окно на рошу, загаженную воронами, на товарные вагоны, на пыльный мост, за которым качались кресты Ваганькова.

В духоту я нес его во двор с баяном. Играл, пел в тени, к вечеру в фуражке набиралось на винцо.

Но кто-то стукнул, что дед поет похабщину, пришел участковый.

Дед оправдывался: не слушай мента, слова не мои, народные!.. По деревне шел Иван, был мороз трескучий. У Ивана хуй стоял, так, на всякий случай! Ну?! Что? Молодой участковый грозил мерами: я тут власть.

Старики насмешничали: давай-давай!

Дед просил баян, говорил менту сконфуженно: ну, Шура, что здесь похабного, сынок? Вот слушай. А тянул меха и пел очумело: мамка плачет, папка плачет, дедка с бабкой мечутся. Отдали дочку в комсомол, а она минетчица.

Когда он умер, нести тело командира батареи гвардии капитана Пронина мужиками не из родни, как положено у русских, не получилось, не набралось и четверых. Легкий гроб несли втроем, с дворником и сантехником.

Участковый Шура на поминках напился и плакал.

Баба Варя вынула из комода розовый ордер: ну, вот, ребята. Наконец-то, уважили, – отдельная, на пилота Нестерова, окна во двор, тишина. Гастроном рядом и пункт стеклотары, как Федя просил. Этаж последний, но с лифтом. Тридцать лет стояли. А я ему так и не успела сказать.

Без комбата ей было суждено прожить еще два года.

Ядрён корень

На Дону мои казацкие предки раков ловят под дерном, там самые норы. На лежалое сало или руками, да кое-кто и без перчаток.

Женщины варят.

Одна ухватит глазастого за клешню, визжит, а за нею другая, целый хор. Забурлит кипяток чистым серебром, и скоро долой их из котелка, краснеют пленники казацьи на решетке.

Фокусов не признают, варят раков просто – соль да укроп.

На меня городского, что разводит мудрости с кореньями в марле, подливает каберне, соевый соус, пользует соль заморскую, глядят недоверчиво, как на турка.

За первой горкой красненьких, над тем, кто лишь шейку расколупывает, – посмеиваются: без понятия человек. А ты клешню на зуб попробуй, бульон из головы высоси во все удовольствие, урча как кот, да чтоб сок стекал по щекам!

Некого тут стесняться, все свои.

А спинка-то изнутри? Ядрён корень! Вот где самая вкуснотень, если жирок грамотно вышматать!

Пар из блюда, пена из кружек, ее сдувают грамотно. Уж вроде и сыты мужики. А неугомонная хозяйка велит девкам третий десяток нести, с пылу-жару, а там и четвертый, пятый...

Иногда полируют пивко одной-другой чаркой беленькой, не без этого.

Все равно нет хмельных.

Припоминают станичники песни дедов.

А песни эти не то, что в разных станицах, в каждой хате, бывает, по-своему поют.

И вот кто-то седогривый, оглядев мужиков зазывно и дико, рубанув рукой воздух, вдруг звонко зачинает: «Когда мы были на войне, эх, да когда мы были

на войне! – а другие хором: – Там каждый думал о своей любимой или о жене!

Касля и пеликан

Сумерки окружают дом, и кажется, снег летит из глубины мира. Узкая мамина фигурка угадывается во дворе. Она сдирает замерзшее белье с веревок вместе с прищепками, как фанеру.

Входит в избу, облако пара следом, бросает белье на койку. И зарываешься в нем с головой.

Оно пахнет снегом и полынью, а еще немного дымом, вороньими перьями, берестой, воздухом между соснами. Ты носом в скомканные ледяные простыни, а тебя оттуда – за шиворот.

Но как оторваться от этого снежно-крахмального, щемящего, горького мира?

На плите утюги: один «Кемерово», для угольёв, и литой поменьше, каслинский.

Большой утюжище разевает рот на краю плиты, как голодный пеликан.

Каслинский на огне.

Каслю мама поднимает ухваткой из старого валенка, как щенка, приплювывает на чугун для проверки. Он приветливо шипит.

Она гладит отцову сорочку, приговаривая, что хоть и тяжел утюг, но что за крепыш. И ручка ладная. А сам будто «надменный буксир».

Он для воротничков.

А уж для простыней греют серьезного Пеликана.

Она набирает угольёв в печке, ловко пересыпает их совком в пеликанье чрево, запирает задвижку.

Пеликан похож на горящий дредноут в открытом море.

Ну, дуй теперь!

Зачем, мам?

А затем: мелкие уголья прожгут дырки в белье. Давай, вместе? Фу-у-у-ух!..

Летят искры со всех щелей, Пеликан важно пыхтит, не сдается, гордый...

Мама кладет в печку полено за поленом, а у меня щекочет в носу.

Так, приехали! А сырость-то зачем разводить?

А кто ж его знает, отчего внезапно так грустно. Вроде все спокойно, печка пылает, ей двадцать семь, мне шесть, дивно хорошо, даже очень.

Получается, псих я, что ли?

Мама приседает на корточки, вытирает мою щеку краем фартука.

Она придерживает прядь, прикуривает от лучины, смотрит, прищурив глаз, качает головой: дурачок. Никакой не псих. Русский ты.

Фугас

Летом я бежал к реке босиком под солнцем, светившим, разумеется, лично в мою честь, и клевер застревал между пальцами. Меня разбирала злость, что не могу перепрыгнуть речку.

Я разбежался, но в последний миг тормозил у края берега.

Плавать я еще не умел.

Трофим дымил самокруткой, сплевывая крошки махры. Он штопал гимнастерку, чинил деревянный протез: ремешки часто рвались.

Русло, говорил, неглубокое, только посередине омут. И если с разбегу, запросто можно перелететь место, где глыбоко, а там ухватиться за камыши. Даже немцы перепрыгивали. Как уж погнали их, прыгали, как зайцы, только кальсоны сверкали.

А тебе, рыжий суслик, слабо?

Подул северный, облака заслонили солнце, и мне стало одиноко.

Я прилег на траву, положил голову на культю Трофима.

Мне нравилась его теплая культя, зашитая в брючину, вместо подушки. От штанины пахло чужим жильем, мылом и медом.

Он укрыл меня телогрейкой и дразнил, щекоча нос соломинкой, я, не вытерпев, чихал.

Он говорил: не надо было обещать. Не прыгнешь – никто из наших на этой стороне реки слова не скажет, а уважать не будет. И ты сам не будешь. И что-то насчет своей батальонной разведки.

Я обещал: немного отдохну и попробую еще разок.

Тут конюх Монахов привел напоить лошадь, услышал спор насчет реки. Он почему-то завелся, снял кирзачи, обернул голенища портянками, разделся до трусов, нашел шестину, поднял палец в назидание: показываю последний раз.

Разогнался и прыгнул.

Конюх дядя Монахов сильно оттолкнулся, и мы видели, как он полетел через речку, будто сказочный скороход.

И вдруг раздался взрыв.

Лошадь ускакала. Ухнуло теплой волной, мы встали, глаза слезились, нас трясло. Трофим обнял меня, сильно прижал лицом к себе, чтоб не смотрел на реку. Над водой воняло дымом и еще чем-то сладким.

Успокоившись, он сказал тихо: я же саперам говорил: ищите лучше. Мелочь поубирали, а какой-то фугас остался.

Пенициллин

На лбу полотенце, в глазах двоится, ветер завывает в трубе. Ходят мимо, задевают ёлку, звенят бусы, шевелятся цепочки, дрожат флажки, качается картонный заяц.

Пахнет хвоей, мылом, камфарой, скоблеными досками пола.

Неужели я умру?

Скажи ему, танкисты не плачут. Бу-бу-бу... Сам скажи!.. Да не плачет он, вспотел, скарлатина же.

Полотенце выжимают над ведром. Буль-буль, хрю-хрю.

Не достанешь пенициллина, пеняй на себя...

Ну, вы иногда и скажете, мама! Уж сказанули, мам, так сказанули! Чесслово! Его-то и в самой Москве не сыщешь!..

Тогда можешь сразу к Тихону на тот берег, гроб заказывать!

Пи-пи-пи... Хрю-хрю...

Да перестаньте вы, ребенок все слышит...

Не слышит...

А вот не поедешь – он вместо нас ангелов услышит. Ангелов не бывает!..

Смешно!..

Мордочку ему утрите кто-нибудь! Мам, где вафельное?

Там студебеккер греют, уже час, сколько кипятка извели, а масло как антрацит... И правильно! Что хорошего эти капиталисты нам могли подсунуть?.. Бу-бу-бу. Одно говно...

Не надо, студик нам на фронте жизнь спасал.

На дворе двадцать, до города шестьдесят, мост закрыт, но лед на реке уже надежный. Наши проверяли. Я погнал.

Помогай тебе Бог!

Под светом выздоровления сосны в окошке зеленым зелены. И ни слез больше, ни тоски, ни пота, с кухни пахнет пирогом, сверкает елка, а вокруг свои.

Что хочешь, нынче проси... Правда, бабушка?.. Ну, да!.. Имеешь право!.. Даже «Орленка»?! С багажником и звонком?! Ну!..

Отец вскакивает: что же вы с ним делаете?.. Замолчите немедленно!.. Мам, и вы бы!.. И не подумаю!.. Если бы не пенициллин... Пацан чуть не помер! Кто ему откажет?.. Не слушай никого, сынок, считай, что велик у тебя в кармане...

Да постойте вы! С неба же не падает. Выиграй хоть одна облигация, ну, хоть одна-однёненька, тогда другое дело!

Барыня рыба

Лодки скользили по реке между травой и лилиями, пока эскадра не выбралась к озеру. Вокруг мелькали огни.

Отец подключил фару к аккумулятору, направил в воду и стал ждать.

В длинном плаще, шляпе и ботфортах, с боевым трезубцем, он возвышался на корме, как Нептун. Но рука его сжимала не трезубец бога, а острогу браконьера, жестокое оружие против хищников пресных вод. Да и сама рыбалка напоминала учения гражданской обороны.

Острога вонзилась в воду, и тотчас на дно лодки плюхнулась щука. Она извивалась, дергалась, но папа был тоже не промах и треснул рыбину по голове.

Вокруг раздавались плеск и сопение, мужики размахивали острогами.

Я забился в нос лодки.

Отец протянул дубинку, облепленную чешуей вперемешку с кровью: долбани-ка гадину еще разок, не помешает!.. А можно я ее поглажу?

Отец замер, вытаращил глаза, а потом так расхохотался, что едва не выпал из лодки. Да ты знаешь, сколько она полезных мальков пожирает?! Он безнадежно махнул рукой, сплюнул и снова уставился в зеленые глубины, где плавала еще не убитая рыба.

Щука уже пришла в себя: она едва заметно раздувала жабры.

Я наклонился ниже, и дальше случилось то, во что никто не верил и никогда не поверит, кроме детей.

Я шепнул, чтобы барыня рыба простила отца, который мог не знать, что щук обычно о чем-то просят... Эти не просят, – печально усмехнувшись, возразила щука, – эти жарят.

И вдруг прошептала: ты будешь плакать по мне?

Я обещал.

Тогда загадывай желание. Только поскорей, чтобы рыбаки не услышали... Матушка щука, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне купили пианино. Звуки сидят во мне, как иголки, от них щекотно, честное слово, иногда даже больно, и я мечтаю выпустить их наружу... Понимаю. Только пианино твоим родителям не по карману. Им захочется купить баян.

Невшуткузанемог

Это ничего, если этажерка выше тебя ростом. Можно ее обойти, как Измаил, и взять хитростью с тыла. Понюхать старые тома, рассмотреть вензеля с блеклой позолотой. Найти между страницами травинку или бабочку, только она рассыплется прямо в пальцах.

Мама любит читать мне вслух.

Она сажает меня между портьерами, у подоконника, где бабушкин гриб в банке похож на медузу.

К окну прижимается сумрак.

Коптит фитиль на подоконнике, пахнет керосином, лампа отражает мое фиолетовое лицо.

Но откуда-то я знаю: не на траву, не на разбитую колесами дорогу, а сквозь меня идет дождь и поит душу ядом надежды.

Это к моим плечам тянется жимолость.

Это меня пытаются изменить небеса.

Это за мою пока еще убогую, но уже бессмертную душонку сражаются тени.

Не бойся, дурачок, мы под защитой, взгляни-ка! – Мама открывает книгу, указывает мизинцем на портрет мужчины в густых бакенбардах и с шотландским пледом на плече.

Спасибо, мы уже знакомы. Нас представила друг другу этажерка.

Он попрекал меня за безграмотность. И что я не знаю каких-то Руслана с Людмилой. Я жалел его за печаль в глазах.

И был убежден, что его зовут Невшуткузанемог.

Когда я от скуки подрисовал ему усы и навел румяна, мне выписали пенделя, а от книги с подпорченной иллюстрацией отлучили.

По портрету я не скучал. Орест Адамович Кипренский изобразил румяного сатира: раздвинешь кудри, а под ними, может, и рожки.

Заодно меня отлучили и от всей русской литературы.

Пендель оказался щадящим, как родительское напутствие. Отлучение долгим.

Мать жалуется, что отдала за книжку 16 рублей. Бабушка говорит: это, считай, тазик клубники, если брать на рынке за рекой. Или пару кругов ливерной колбасы в райцентре. Или заварное пирожное. Или полкило сыру.

Мама – про стихи: вот главное!.. И как славно, что хоть набрали текст по полному собранию!.. А он (это я, значит!), дубина стоеросовая, бесчувственный чурбан! Прекраснейшему пииту, отцу языка, на котором мы все говорим, – подрисовывать усы и называть Невшуткузанемогом!

Полное собрание вышло в тридцать седьмом, поэтому многие подписчики так и не увидели первого тома.

Избранное отправили в печать в июне сорок шестого, – нищего, рваного, беспогонного, в круженье листовок, под духовые вальсы, очереди за крупой, под стук колёс и пенье пьяных инвалидов. Зимой этого сорок шестого мне еще нагревали утюгом шерстяного зайца и совали под одеяло, согреться.

В школьную пору Невшуткузанемог околдовал мое пространство до последнего полосатого столба.

Все остальное собралось на реке, дало прощальный гудок и куда-то отчалило:
и прокуренный солдатский клуб, где крутили «Падение Берлина»;
и кумач на стенах;
и темное ханство квартир с запахами белья из выварки, гуталина, кошачьей мочи и духов «Красная Москва»;
и пленные фрицы, рывшие колодец;
и пьяные конвоиры;
и драки до первой крови;
и танцы под трофейный аккордеон – два шага вперед, один назад.

На обложке избранного ОГИЗ не удержался и тиснул-таки фрагмент из того же Ореста в виде шоколадного горельефа на ледерине.

Зато внутри рисунки Добужинского. И вот это уж – да!

Я как зачумленный разглядывал гравюру с вечной Татьяной, вечным Евгением на вечных коленях, припавшим губами к ее вечной девичьей кисти: «Она его не подымает/И, не сводя с него очей, /От жадных уст не отымает/Бесчувственной руки своей...».

Сколько раз я канючил этой даме в боа и в малиновом берете: товарищ Ларина, будьте, наконец, человеком, простите Евгения, он больше не будет! Зачем вам этот старик князь, к тому же инвалид?

Я научился просить и за больного дядюшку Евгения, который «уважать себя заставил», и за испанского посла, и за автора романа, который их придумал. И уж, конечно, за себя, грешного.

Я просил, чтобы не оставляли меня без Пушкина.

Звук сердца

У меня полно работы.

Я сражаюсь с духом Йода и Эфира, дразню отражение на крышке стерилизатора, ловлю солнечных зайчиков, направляю их на медицинские плакаты – на голове лондонка, за щекой гематоген, в голове туман.

Среди призраков, что обитают в маминном кабинете, выделяется Человек. Он состоит из одних мышц и сосудов, протягивает ладони, улыбается последним оскалом: сам знаю, что страшен.

Еще бы! Ведь с него заживо содрали кожу.

Иначе, говорит, я зря в науке? Зато взгляни, как мудро устроен наш вид, homo sapiens, ничего лишнего.

Мама мечтала, чтобы я стал хирургом.

Между прочим, в анатомическом театре... (Она говорит тихо, чтобы не рассердить духа.)
Где-где?..

Я сразу вижу сцену, задернутую синим бархатом с золотыми кистями, слышу увертюру...

Нет?.. Нет, другой театр, в сущности, морг. Вот так.

Она вытягивает ладони, шевелит пальцами, словно надевает перчатки. Но представь: ванна с формалином, в ней плавают части тела. Я бы сказала, мой друг, как белые рыбы...
Белые рыбы?.. Угу. Но это совсем не страшно. Ты веришь? А если веришь, почему нос морщишь?

От маминых волос пахло ландышем и табаком, они щекотали мне шею.

В пятом, что ли, классе она впервые показала трофейный фонендоскоп «Кирхнер и Вильгельм»: поступишь в медицинский – твой.

Она касалась мембраной моей петушиной груди, вставляла трубки, и я слышал через них мерзкое чавканье. Будто внутри меня кто-то кого-то ел. Она сердилась: уж извини, ничем помочь не могу, это конкретно твое сердце.

Зимой она вдруг попросила съездить с ней на вызов.

Серым днем на полустанке коченел товарняк, пыхтел тепловоз, кисло пахло углем, с рельс стекали молочные струйки снега.

Машинист с шапкой в руке тупо смотрел на снег и на пятно в снегу, как если бы пролили вишнёвое варенье.

Там лежал мужик без ноги и смотрел в пустое небо.

Будто кого-то ждал.

Я не сразу узнал Сутягина, кузнеца с другого берега реки.

Мама закончила с раненым, его понесли в грузовик. Тут он забеспокоился насчет второй ноги, стал ерзать и материться. В этом не было проку, пришивать конечности еще не умели. Но мать все равно послала меня за ногой.

Поодаль из сугроба торчала ступня. От удара валенок мужика Сутягина вместе с калошей отлетел в сторону.

Меня удивили не осколки костей, не обрывки жил и сосудов, а дырка в носке, из которой торчал палец с желтым ногтем.

Я ухватил ногу и понес на руках, как воин-освободитель спасенного ребенка, но вырубился.

Очнулся от нашатыря и ладони матери на лбу: жаль, не получится из тебя доктора.

Фронтальной фонендоскоп достался моему сыну.

Банька по-белому

В гарнизонной бане на берегу Еменки первыми мылись офицеры, за ними женщины с детьми. Последними солдаты.

За год до школы я еще ходил с мамой.

Она легко ступала с копной соломенных волос из-под платка, в белом полушубке на голое тело, в белых же бурках, по тропе среди сугробов. За нею я, неуклюжий, дальше сестра. И так мы гуськом входили внутрь сруба, за тяжелую дверь, в царство пара, мыла и березы.

Сидя через шаечку, мы с сестрою слушали голоса из парной: ты, Лида, по спинке-то прой-дись, к пяточкам прижми!.. Ага! Хруп, хруп!.. Да посильнее, девка! Веника жалко?.. Посильнее на фронте давай! Получай, Галь!.. Ух, дятел мой залетный! А-а!.. И мужика не надо!.. Его всегда надо! Хряп, хряп!.. Все. Уморилась, Галь, не могу... Ну-дык, теперича ты ложись, командирша!

Бежали к Еменке в прорубь, пар от тел розовых, трюх-трюх – плюх в воду черную, да с матерком. Визгу до самых казарм.

Еменка, река Невельская, зеленая, родная!

Засидишься в парной, прорубь ледком затянет, тут смотри, не зевай.

Худоба не в моде была, наголодались бабы.

Говорили – мужики не собаки, на кости не бросаются. Я понимал так: советские солдаты боятся костей и обходят стороной или отдают собакам.

Наташку помыли уж, одевают, а меня башкой в шайку. Где мочалка? А хозмыла брусок?.. Давай, три! Да докрасна три, не жалей себя, сынок!

Сквозь пар – белые бедра, ноги.

Похожих женщин я видел потом в виде статуй со снопами, на высотках Москвы. Черные треугольники внизу живота. Но меня-то больше изумляли груди с розовыми сосцами: как же с ними бежать неудобно, подпрыгивают, а ночью спать мешают.

Лида, послушай, куда это твой пацан зырит?.. Да пусть зырит, Галь. У него еще пиписька не выросла!.. Нет, нет, ты обрати внимание, он уже как-то не так зырит... Ты думаешь? Ладно, сынок, давай-ка марш отсюда!.. Ты же велела еще за ушами потереть, мам?.. Потри и ступай одеваться!.. Лида, ты его в следующую субботу с мужиками отправляй, хватит уж, нагляделся...

Меня мгновенно отлучили и от уютных тел, и от мягких ладоней, и от густых, до копчика, волос, и от сияющих глаз.

Пожаловался другу Лёньке во дворе. Он говорит: дурак. Если с офицерами, значит, ты уже сам как офицер. Тебе выдадут пистолет, фуражку и погоны. И может, пошлют в суворовское училище. А мне еще целых два года с девчонками! Эх! Два года! Хоть бы уж с солдатами пустили...

Златые горы

Под столом не самый почет, но куда деваться. Зато вокруг ноги в габардине или в капроновых чулках, подола из крепдешина, креп-жоржета; скатерть светится желтым, и кажется, будто сидишь внутри абажура.

Звенят бокалы.

Хвалят закуски, аж слюнки текут. А холодец-то с чесночком!.. А винегрет!.. А утка с черносливом!.. Не утка, конфетка!.. Говорят, рубль пятьдесят отдали, а на другом берегу у кооператоров утка, поди, по рубль двадцать, вот в чем досада и огорчение! Хоть лопни, хоть тресни, хоть до ночи обторгуйся. Спасибо, хоронить наших приходят. Так ведь и кладбище на их берегу.

И все мы давно родня.

А снижение цен. Кто бы еще в прошлом году мог подумать? Ситцу набрать, пока снизили, а то ведь еще передумают? И мыла со спичками. Советская власть не передумает. Нет, ну, так, на всякий случай. До войны тоже всякое говорили, а потом...

Ну, вас! Песню, песню!.. Галь, давай!.. Про околицу, что ль?.. Или на побывку едет?.. Лучше про горы!.. Ну, про горы, это Федя, он и все слова знает!.. Ему не вермуту, ему лучше вон той, с белой головкой!

Грохают кулаком по столу так, что посуда звенит.

Это дядя Федор, его кулачище.

И сразу с таким отчаянием, с такою силою: «А имел ба я златые горы и реки полные вина...» И все вместе: «Все отдал ба за ласки, взоры, что ба ты владела мной одна!»

Тетя Шура, Федорова жена, выводит сердечно: «Но как же, милый, я покину семью родную и страну?»

Можно, конечно, покинуть. Только покинет ли тебя река, и берег, где ты родился, и другой берег, куда ты так и не допрыгнул?

А там, через мосток, ближе к лесу, на Веселой горке, запутанные жимолостью голубые ограды.

Ба

В углу веранды у нее висели Екатерина Великая и Ленин из «Огонька». Императрица нравилась ей кринолинами. А вождь взыскующим взором.

Ленин этим взором восемнадцатого года, месяца июля, взыскал, чтоб бабушка, такая-растакая, не забыла посолить суп.

Она чаевничала по-старомосковски, держа блюдце на изящных пальцах и окуная туда колотый сахар.

Я был зачарован.

Мне казалось, что все вокруг пылает червонным золотом: и самовар, и чай, и сахарница, и лоскутная Аринушка на заварном чайнике.

Она лечила меня от заикания желтками, которые заставляла пить на балконе и глядеть в гранитные дали. Пока советское солнце не садилось за министерство обороны по ту сторону Москва-реки.

Ба то и дело затевалась умирать.

Это продолжалось лет двадцать или больше.

Нам даже надоело.

Она срывала всех с работы, и я тащился к ней из редакции через весь город. Она хваталась за сердце на диване, говоря, что никто ее не жалеет.

Но скорая не находила у Ба ничего, кроме чувства юмора.

Когда опустели горбачевские прилавки, в ее голове странно сместились времена.

Что значит, нет мяса? Велела ехать к мяснику Крылову на Серпуховку. И скажите, пусть свесит фунта три постной телятины да запишет «на счет Анны».

Лет в девяносто она стала вдруг обращаться ко мне по-немецки, вспомнив гимназию, называла mein Master (мой хозяин).

Не веря в Бога, бормотала Отче наш.

Быстрее всех разбирала газовый пистолет – во время Гражданки у нее был браунинг.

Правда, Ба ни в кого не стреляла.

Вслед за эскадроном мужа она возила по селам граммофон с пластинками, книжную классику в золоченых корешках.

Над разоренным селом гремел Вагнер.

Бабушка одевалась барыней, читала с подводы крестьянам монолог леди Макбет, а детям Сервантеса.

Она свято верила, что Пролеткульт спасет мир.

Ба ушла в девяносто пять.

У меня осталась от нее шаль, траченная молью.

Это заколдованная шаль, говорила она. Вот ты мотаешься по стране, прихватит поясницу, не ленись, обвяжись.

Обвязываюсь и чувствую тепло, будто она руками обнимает.

И говорит: мы с тобой, сыночка, везучие, все будет хорошо.

Теплый бок

Там хорошо, где нас нет? Ну, не знаю. Мы жили на Арбате рядом с домом, что снимали Пушкины.

Из окна кухни был виден конюшенный двор.

Вокруг летала серпантинами и серебрилась жизнь.

Можно было, выйдя из подъезда, упереться в теплый бок лошади.

Предсказатели будущего тайком пили водку.

Играл скрипач.

Хорошо ли без меня квартире, где паркет скрипел и жаловался под ногами. Где от намокленности разливался покой.

Хорошо ли без меня Арбату?

И по кому теперь звонит Спас на Песках?

Бывай!

Не знаю уж, откуда дворянские замашки у сына вольных казаков и начитанных евреев?
И не то, чтоб усы ниточкой, не то чтоб – к «Яру», шампанское, вашблагородье, девки
в чулках.

Ни сигар, ни ломберных столиков, ни взбитых сливок с черникой, ни пульку расписать.

А вот цыган подавай!

Например, пруд в ряске, скамья, запах сирени.

Никакая не михалковщина, – как будто до него не было Пушкина, хрена уж Никите
со свеклой и чесночком! – Эт-мое!

Грузди хрумки из Мурома, из Костромы ли, в хрустале, под серебряный штоф ледяной,
булки, лососина!.. И вокруг странное племя, родом с небес, что придумало кибитки, и фла-
менко, и старух с трубками.

Эти гибкие, смоляные, ходят кругами, очи синие, очи черные, разбрызгивают свой
талант, несут над головой фонари удачи. Оранжевые, как мандарины.

Пусть им нынче скажут: начинать с величальной: к нам приехал, к нам приехал Анатолий
Эммануилович, мля, дорогой, собственной персоной, – сколько возьмут? Просим-просим!

Семиструнка, колониальный чай, шоколад, свечи, целую ночь соловей нам насвисты-
вал... Какой театр «Ромен»?

Но на Павелецком другой театр – нырк из-за киоска: дарагой, пазалати... Опять? Да
сколько же можно? Дай сам тебе погадаю?.. Пошел на хер!.. Нет, муж у тебя был, говорю, ох,
строгий! Пил, дурил, бросил тебя, двое детей...

Замерла. Глаза!

Романэ, а ведь правда! Откуда он знает?

Да пошутил я, чавелы!

Сигаретку дай! Ты не из наших, парень.

Почему?

На лбу написано.

Пошептались. Приносят мальчонку лет пяти – потрогай ему лоб. Да, горит...

Сынок Сашко заболел, дай хоть сколько!

Отдал все, не считая.

Ну, и забыл думать: какой с них спрос?

Но через месяц открываю двери коммуналки – и вот они, шумною толпою: нас табор
прислал.

Как адрес узнали?

Ржут. Цыганская почта! Не бойсь, мы ненадолго. За Сашко спасибо!..

С бутылками, с закусками!..

Соседи – шубейки да сапоги в комнату! – заперлись и ни гу-гу.

Женщины на кухню, мужики за гитары.

А нагулявшись, так же дружно встали, посуду перемыли, бутылки в мешок: мы пошли.

Можно с вами?.. О-о-о!.. Ну-у-у!.. Не знаешь, что просишь!

Скажите хоть, где-искать-то вас?..

Сами тебя найдем, брат! Бывай!

Знать бы

Сон.

Чертово колесо, кабинки, репродуктор орет про Арлекина, что ни звук, гвоздем в башку. Тянет болотом, на девушку с веслом глядят утки.

С кем ты вчера и за каким чертом?

Ладно, занимай за мужиками, тупица, терпи.

Кружек мало, но свои баночки и закусь, у Тамары сушки одни. Кружка, соленая сушка – ну, и пошел на хрен, не мешай людям, по две в руки мало, занимай с хвоста...

И голоса слышу: при Андропове гоняли как собак, при Черненко разбавляют... Да не звезды, утренний завоз, с Бадаевского!.. Ага, с одной кружки ничего, а с двух дристан!.. А мне пох... Тридцать копеек одолжите кто до среды? На заводе в среду дадут...

Так это же Никитин с «Красного пролетария». Эй, Коля, не уходи! Его схоронят в девяносто первом, до путча еще, сына убьют в Чечне, у жены заберут хату, пойдет бомжевать.

А вон Петр Федорович, с ним мы служили... Поднимется земля на ремонтах, вылечит тубик, вставит зубы, а как жена уйдет, все спустит.

И как бы еще дяде Вите Белову шепнуть, чтобы после дембеля не просился в Сербию. Ранят, продырявят легкое, не доплатят. А в две тыщи четырнадцатом все равно убьют под Луганском, но уже свои.

А пока вот они, красавцы, как на подбор, брючата под ремешок, пиджак с лавсаном, куртец. Они и так в кураже, а примут еще по сто, сразу про баб.

Бегают отлить в кусты, шумят, матерятся, спорят.

А ты хоть кричи, хоть молись, хоть плачь, не изменишь ничего.

Светит советское солнце.

Спроси у серого

Арбатские бомжи особые, они патриоты Арбата. Так мне кажется.

Потому что не особые бомжи не станут гнать прочь гуляк от медного Окуджавы, шагающего через свой двор с гитарой. Или ругать тех, кто справляет нужду в арках, оставляет пивные банки и бычки у медных же ног четы Пушкиных.

Спросишь, кем были в прошлой жизни – один конструировал мосты, другой носился с идеей «дирижаблей скорой помощи», и все они поэты. А просят на выпивку так: не соизволите ли, сударь, вспомогнуть бывшим лирикам?

Ладно, еще у меня. Утверждают, что им сам Пушкин подает.

Если мне не веришь, Толь, у Серого спроси, он гнать не будет!

Значит, примерно полшестого утра, когда вы все дрыхните, а мы собираем бутылки, – вот, значит, в этот час Александр Сергеевич прям из Англицкого клуба возвращается...

В свой 53-й дом, что ли?.. Ну, да, где его Николавна ждет, в музей!

Стоит разлить и начинают: вот, слушай, какого стиха накропал... Нам, бомжам двора арбатского, /Камер-юнкер, дворянин, /То полушку даст на сладкое, /То займет – на магазин...

Ну, как?

Врешь ты все.

Я?! Толь!.. Да чтоб мне провалиться на этом месте!..

Серый, а ты, кстати, как раз на крышке канализации стоишь.

Пирожки

Мой сосед по Беговой, Герман Д., философ, устав от Гегеля и тупых студентов, пропил заначку, заложил в ломбард ковер и теперь просил у жены.

Дело шло на кухне.

Она, толстушка, лет на 20 моложе, из бывших его студенток, лепила пирожки. С мужем на вы.

Дашь трешку, получка в среду?

Идите нах, профессор!

Не жмись, у тебя точно есть, я даже знаю где.

Из маминых, на стиралку? Ни за что!..

Сукой буду, верну, Нинель!

И век воли не видать, да? Ха-ха-ха!..

Ну, не будь жестокой, Нинель, душа горит!.. А потом мы могли бы... Ну, это...

А я говорю, уберите лапы! И у вас нос в муке!

Дай денег!

Может, на колени встанете?

И встану! А что тут?

Вы серьезно?

Абсолютно!

Но костюм только из химчистки!

Погоди! Нет! С точки зрения науки, я не прав! Я ведь собрался встать суть не на колени, а на брюки! Чуть не обманул!

Герман ножницами вырезает дыры в брючинах и падает на колени.

Но это же английский твид! Я с вами разведусь, сволочь пузатая!

И больше никого

Есть места, непригодные к жизни, и мало кто станет жить добровольно. Тоже зона, да не тюрьма.

Есть дом, который пообещал предкам не продавать, не ломать и не покидать. И чтобы похоронили рядышком со своими.

Дядя Саша и остался.

Сюда не долетают новости с Большой земли.

Здесь когда-то советская беда струсилась, непомерная.

Зимой у него сдохла старая корова, косить сено уже нету сил...

Телевизор не работает, электричества нету.

По радио он знает, что на Украине война среди своих же братушек, – вот грех-то и горечь, не понять.

Молится в святом углу: церковь давно разграблена.

Чернобыльская зона. Дядь Саше 79. Коту 12.

У них никого нет больше.

Он ловит рыбу в пруду-охладителе, хотя гоняет охрана, кормит себя и кота.

Мишель

Лерыч упал с трапеции, ушел из цирка, вернулся в свой городок.
Там он встретил одну Тамару, напрягся и через год встал с кресла. А она сбежала с армянином.

Такие дела.

Он запил, всем говорил, на хрена ему теперь ноги?

Мать прятала деньги, потом махнула рукой.

Однажды Лерыч увидел в небе кота и подумал, что принял лишнего. Но кот реально парил с балкона девятиэтажки. Его оттуда сбросили на шарике добрые школьники.

Лерыч его спас, назвал Мишелем, в честь Монгольфье, придумавшего аэростат.

Стал дрессировать.

Но коту не нравился перегар, он кусался и убегал. Тогда Лерыч завязал.

Они выступали на рынке, на вокзале и даже у мэра.

Когда Тома вернулась и сказала, что все еще любит Лерыча, Мишель нассал ей в сумку, и она поставила ребром: либо я, либо чертов кот.

Вот так вот...

Кот уступил и ушел.

Тут умерла мама. Потом за Томой приехал законный армянин и повез ее рожать.

Лерыч сдал однушку за бухло.

Когда не давали в долг, показывал афишу, где он на трапеции.

Осенью он лежал в подвале и харкал кровью.

Вдруг появился его кот с кучей родни.

Кошки забрались под одеяло, коты легли в изголовье и в ногах, целебно мурча. Они не покидали его до весны, пока Лерыч не оклемался.

Тогда он усадил Мишеля на плечо и сказал: поплыли-ка отсюда к едрене фене. Ведь не может быть, чтобы повсюду котам и людям жилось в таком говне?

Кот согласился.

Может, тогда во Францию?

А что, в России мало места?

Они сели на парходик и почухали вниз по Оке.

Всегда со мной

Нохча, Нохча, слово-то какое, как сонная рыба на льду.

Дивно мне, что кто как задумает снимать о русском Севере, писать ли, ставить пьесу, – будто звук выключен. Или есть звук, и даже матерка припустят, а где живая речь?

Дарья на это сказала бы: а чё им! Разве они говорят по-русски? Так, бузяндают!

Руки в морщинах, прямая, повадка гордая, выговор поморский крепкий, и по матери послать тоже умеет, не хуже гребца.

Однако же, как я тоскую по речи ее! Как по живому роднику! Да больно душе, словно бы не в московской электричке сижу, прижав к животу сумку с чужими рукописями, а в Бруклине, и нет мне пути домой, проклятому.

Дарья Трифоновна, расскажите!.. Да, отстань ты, бёздна!.. Привязалси!.. Белой лучше-кы себе налей! А у меня сёдни шти. Не приучен? Кто богатый, в шти барабули (картофель) не ложить, одно мясо, а мы-от барабулю, не гордя, и делаем на пахтанье (пахта). И то завтра алилюшки напеку. Раньше-то обыдельники пекли, их и щас пекут, на Нохче выблядками зовут. Делали их на кислом молоке. Или на кефире по-нонешнему. Но все лучше, чем в войну, из клевера алябанов наляпают, да на железину...

А вот еще такие пироги с рисом?

От-ты тупой валенок!.. Пироги!.. Башкеты!.. Эт делают очень сдобный башкет, рассыпают пластину, кругом загибают, в середину ложат мясо и рис, варят, а потом это коркой закрывают и режут кусочками.

У нее внучка с подругой ночевали, утром автобус, и в путь.

Дарья глядела с остановки: денежку им все, денежку дай, а девки безгодки, молодые ишшо работать, не то што мы с четырнадцати годков. Ох, бёздны! Да што я в шешнадцать и вышла. Зазря тогда не цоловались. Приде жоних невесту цоловить – вот и белила. На белила тебе даё, приговариваё: за поцолуй-от! А девки, куда ж они в метель? Ахти мне с них!..

Держу я говор ее в тайниках души. Как сбережение.

В нем такая огромная сила, такая сердечная мощь и столько любви русской – такой простой, естественной, скромной, как камни на Поморье. Как берега и лес Нохчи.

Чужому не понять.

Это уж, извините, наше.

И всегда с нами.

Еще позовут к чаю

Онега, тоже лекарство для измороженного ложью человека.

Для очищения его ума, души и сердца.

От тотального московского морока.

От сытых рож за заборами.

От зла.

Прочь от места, где страна качается и уходит из-под ног, – на архангельский лед. На Онегу, в Каргополь, в Саунино! Пить травяные чаи с пирогами калитками, слушать плавную речь с кучей слов незнакомых, – но ведь русских же! Поймают тебя за рукав, дурачка площадного, скомороха москвича, и не говори тогда никому, что пишешь на русском языке.

Онега подо льдом лишь кажется тихой – но летом норовиста, быстра, удивительна приливами-отливами.

И если когда-нибудь...

Не по московским кабакам, не по Рублевке стану грустить. Но заплачу вот по этому синему снегу, по колокольному звону на сто верст, по поленьям в русской печи, по именам онежских притоков – Кодьма, Кена, Икса, Кожа, Волошка.

А еще по отчим домам, каких все меньше, – с причудливыми верандами, флюгерами-петухами, кустами сирени и кленами возле окон.

Осенью они стоят втихомолку, как старики, текут крыши, сквозит через разбитые стекла, но в долг не просят.

Скажут, нет времени возиться с ними, – а они и есть Время.

Скажут: вот, тоже, нашел старину! Но ведь наличники с корунами, цепочками, фартуками, висячими подзорами, слезками делали мастеровые деды, на века.

Скажут, легче новый дом поставить, чем с этой развалиной мыкаться. Но отчего в Голландии думают иначе и каждую трещинку берегут, пресвятая Дева?

Да только бы уж ради того, что отец отсюда утопал на фронт, а сам ты поднимался на крыльцо.

То с рекордом, то с фингалом.

То с повесткой, то с невестой.

То крутым в коже и на джипе, то треху стрелнуть.

Уж ради этого сберечь бы, что осталось.

Не хотите слушать, дайте сам послушаю, прислонюсь к косяку, щепочку пожую. Там еще играет радио, швейная машинка хранит тепло маминых рук.

И как Алису в стране чудес, – всегда зовут на веранду к чаю.

Доверчивый мир

Внутри все дрожит после вчерашнего.

Нога болит.

Возлюбленный кот ушел.

Аспирин не растворяется в стакане.

Ну, и к черту печали Мценского уезда! Exit загорается, как на табло в самолете. Нырнуть в кроличью нору любым способом.

Нарисовать кролика, если умеешь, раскрасить акварелью, вышить гладью дубраву, блин.

Разогреть пальцы баррэ и флажолетами на гитаре.

Открыть фоно, нырнуть в блюз.

После второго квадрата вернется кот, потом пройдет нога. Телек сам дойдет до балкона и усвистит в чертово Останкино.

И гляди-ка, друг милый! Небо уже меняет цвет, и пахнет водорослями с побережья, и крепкий кофе заварен.

Доверчивый мир бывает рядом.

Кино

Пригубишь коньяку и смотришь кино Тарковского прямо с планшета. И Бах там, и душа его странная, и Перголези.

Это у сына.

И стихи отца:

*Свиданий наших каждое мгновенье
мы праздновали, как Богоявление...*

Отчего со мной навсегда духота и оторопь зальчика на Ордынке, тополиный пух в носу, опьянение от закрытого показа?

Будто листают Брейгеля.

Сцена до титров с подростком...

В школе я заикался пуше этого отрока, чуть не замолчал, пронесло.

А Витана и Юрасика – нет.

Они нынче вон там, на бережку, портвейн закусывают сырком. Обоим за полтинник, уж внуки пошли, а заикаются ужасно: п-п-по-д-длей еще!

П-подлю, п-падла, п-п-подлей.

Одному в детстве отец сунул ладонь в конфорку, чтоб не играл со спичками. Другого заперли в холодильнике с рыбою, крал на мороженое.

Витан обоссался от страха, у него поседела прядь, и стал заикою.

*Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.*

Премногие годы после этого закрытого показа, когда в сомнениях или пытаются заткнуть рот, вспоминаю логопеда из фильма Андрея: «А теперь – говори!...»

Ну, вот, ладно, говорю, как могу... Да...

Ну, или почти... Получается...

Любые слова, между прочим, – и на «д», и на «п».

Хорошо иногда одному, Господи.

Фея Танька

Если по-честному, мы прогнали Таньку давно – за воровство с елки конфет и золоченых орехов. Это было последней каплей.

Она подставляла нас, где могла:
поливала крупы керосином;
подкручивала стрелки ходиков;
мочилась на дрова у печки.

Она курила «Беломор», пела похабные частушки без намека на слух, да еще требовала, чтобы подпевали и хлопали всей семьей. А если нет – распускала мамину кофту, сооружала аэроплан из логарифмической линейки и чертежей отца, прыгала по басовым клавишам пианино, будто снова началась война.

Что мы только не делали!

Носили одежду наизнанку.

Журчали проточной водой.

Клади за окно хлеб, звонили в колокольчик, снятый с козы, сажали клевер и рябину.

Бесполезно. Она исчезла только в то мгновение, когда захотела.

Спустя годы фея Танька была замечена сестрой Наташей на статуе Свободы, а потом еще на корме «Ферри» по пути в Статен-Айленд.

Больше она фею не дождалась.

В госпитале Танька кутала ноги отцу, утверждая, что спасла его танк при взятии Смоленска, но отсюда ему не выбраться. Отец сказал, чтобы катилась прочь, так как ее не бывает, и умер через три дня.

Для феи, даже если она законченная стерва и врунья, не существует времени.

Но все теснее становится позади, в толчее и прохладе. Рано темнеет.

И нет навигатора, который скрипучим голосом феи подсказал будущее.

Правда, недавно она вдруг снова постучалась в окно.

Танька ничуть не постарела, отлично сохранила фигуру. От нее исходило свечение, как от рекламы ленинградского эскимо. И никогда прежде мне не встречалось прелестное личико с такой обманчивой внешностью.

Мы с котом обреченно обнялись в ожидании худшего.

Фея могла запросто украсть припасы у нашей белки или лишить гнезда пожилую ворону Марфу.

Но, похоже, все мы уже немного устали.

Даже чтобы бояться.

Примадонна

Продают корову.

Егор треплет животинку по загривку

Сам лично раздаивал, молока, упьетесь с Валькой, вот увидишь. И на продажу хватит, и теленку... Не корова, Жека, а фонтан дружбы народов!.. Ну, не знаю, рога от как остры... Косит мудрым глазом. Ото ж! Примадонна, мать ее! Но это, Егорушка, никак не тридцать тыщ!.. А скока же, по-твоему, ёлкин тузик!.. Двадцать пять... Двадцать восемь!.. Егор, нету, двадцать шесть!.. Изабелла, пошли домой на хрен!..

Погоди, я, ну, эта... подоил бы что ли для пробы?.. Эт можно. Если даст полведра – двадцать семь с полтыщей на магазин. Ни тебе, ни мне!.. Му-у-у-у!.. Ух, слушай, а вымя-то, вымя шоколадное! Скока жа у ей там?.. Только не дергай, не колокол, не любит она!.. Поучи еще меня!

Жека кладет руку на холку, шепчет: укроти, батька Николай, корову сию крепостями своими! Садится к ведру: дёрг-дёрг – ззынь, ззынь. Пряма, сливки королевы, ёлкин тузик!

Беру.

Вяжи под рогами, поведу уж!.. Му-у-у!.. Видишь, она согласна!.. Голос оперный!.. Продаю корову, а сам чуть не плачу, прикинь!.. Чай, не с женой развод.

Давай, ёлкин тузик, прочтем на передачу денег. Никто не подсматривает? А то напрасно.

Сели, молочка отпили: хлюп-хлюп, буль-буль – эх!.. Нос вытри, урод!.. Вижу!.. Ага, это же мед небесный!..

Значит так... Господи, благослови для дома Жекиного и для жены его, Валюхи, молоко, масло и сыр. Аминь.

Синяя жилка

Сойти с весов? Пожалуйста.

Бабушка, прикусив губу, смотрит то на меня, то на планку с гирями, будто ее на рынке обманули.

Либо весы врут, либо врач.

Записано: перед каникулами ребенок весил тридцать два кило. Теперь двадцать шесть. Это как?

А круги под глазами? А тело в синяках?

Его же не в Освенцим отправляли, а в пионерский лагерь!..

Меня выпроваживают в коридор поликлиники, бабушка остается в кабинете с врачом, шепчутся.

Здесь будто бы тоннель времени: линолеум, параллели плитусов уводят в бесконечность.

За рядами клубных сидений – окно, и солнце, и ветка каштана, спелые колючие плоды постукивают по стеклу.

Все думают, я болен, поэтому вернулся не розовым и упитанным, как поросенок, а худым и побитым, как пес.

Мне по этому туннелю назад, к той девочке, которая врезалась в память. Никакая фотокарточка не нужна: узенькие плечи, красный галстук, карие распахнутые глаза.

Мне – к тому имени, что еще долго буду повторять днем и ночью: Диночка, Дина.

Впервые я увидел ее, когда она построила наш отряд. С тех пор ходил за ней повсюду.

Пионервожатая может отругать пионера, даже отшлепать по заднице. Но Дина поручает сложить поленицу, принести воды для рукмошника.

Пацаны смеются. Девчонки ревнуют: прикинь, ей ведь целых шестнадцать лет, старуха. И выше на голову.

Чтобы возвыситься, хожу на ходулях, падаю, коленки в ссадинах, руки исцарапаны.

Накачиваю петушьи мышцы, корячусь на турнике, давлю прыщи перед зеркалом, расчесываю волосы на пробор.

Кладу ей под двери ромашки.

У костра пристраиваюсь рядом с Диной, впитывая журчание ее голоса: «Обрадовались буржуины и записали Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство».

Через вырез в сарафане мне видна ее грудь, а на ней родинка и синяя жилка.

Дина, я тебя люблю.

Как хочется оттопырить ситец и дотронуться!

Грудь Дины вздымается вместе с сарафаном, наверное, от волнения перед Гайдаром: «И дали Плохишу целую бочку варенья да целую корзину печенья».

А мне ни шиша.

Я не получаю ничего, хотя аромат ее кожи и волос почти лишает меня рассудка.

Придя к ней с кульком конфет и белым наливом, признаюсь. Думаю, засмеет. Но оказывается, все хуже: у нее жених.

Жизнь моя закончена.

После отбоя, оставив ей записку, иду к реке. Она – следом. Завидев меня по горло в воде, прыгает с кладок.

Мы переплываем реку и уходим вверх по течению, сушим одежду у костерка, нагие, плача, целуясь и дрожа.

Мы никого не боимся.

Даже директора лагеря, отставного полковника Локтева.

Мы одни перед Богом и советской властью.

И нет на свете существ более одиноких.

Таки ладно

Что касается моей киевской тетки Мирры, умнущей и осторожной, как Тортилла, то из ее 90 лет последние пару она как-то обошлись без ТВ и радио.

Тетка говорит, что ей нельзя расстраиваться. Доктора не велят.

Из своей киевской квартирке на Стрелецкой она слышит лишь колокола Софии.

И узнаёт новости от социалки – что помогает по дому.

На Крещатике тихо? Так-таки и ладно. Хуже, что на майские некому сделать гефилте фиш...

Ганночка, ви, что ли, не кушали гефилте фиш? Азохен вэй!.. Так уже сходите за шукой, вот гроши. Шо, мало? Ну, налепим вареников. Большое дело!

Офелия

Мимо окон в Невеле несут тесаный крест, следом телега с гробом, за нею родня. В хвосте дядья-алкаши, с надеждой на похмельку.

Каркают вороны. Все черное. А позади девчонка.

Она не идет – она парит, скользит по пыли сандалиями, аки ангел на коньках. Букетик держит перед собой, как проводница флажок.

Люди жмутся к домам и вполголоса: кого понесли-то?.. Корноухова, обходчика... Который печень пропил?.. Не печень, а почки!.. Да хрен ли теперь разница? Глянь, как мелкая убивается! Чья она? Не родня ли обходчику?.. Видать, внучка... Ой, ой!.. Ну, вы даете!.. Эта, что ли? Придурочная с того берега!.. Там ее все Офелией зовут. На похороны ходит, как в кино.

Через пару недель несут буфетчицу – Офелия за гробом.

Потом участкового дядю Мишу, что пьяный утоп.

Он, между прочим, так и не показал мне пистолет, но научил чечетке. А еще – свистеть через камыш по-воробьиному: фьють, фьють.

Она плетется и за дядей Мишей, входит в церковь, и я за нею.

В кромешной духоте, среди лазури и золота, пахнет конфетами.

Офелия, откинув с лица тюль и морща носик, встает на цыпочки, пристраивает букет, отходит к стене и, зажмурившись, подпевает хору тонким голоском, до последних строк канона, до Трисвятого. И даже когда умолкает хор, она еще шевелит губами: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

Я догоняю ее за церковной оградой: зачем ты ходишь на все похороны подряд, балда? Ты веришь, что они, как на автобусе, едут в гости к богу?

Она не понимает.

Это с нашего берега едут, объясняю ей. А с вашего, бабушка сказала, неизвестно куда!

Показывает язык: дурак.

Сама дура! Пили к своей мамочке!

Не хочу, здесь так красиво поют. Лучше, чем по радио.

Утирает щеку.

Но куда же они уходят, один за другим? Куда, куда, куда?

Их забирает река.

Фьють.

Время

Время никуда не уходит, это ты сквозь него бредешь.

Здесь не бывает, давай на Маяковке через час или в «Жан-Жак», не разведут мосты, не опоздаешь на метро.

Зато к себе норовишь поспеть.

Шелест олив различим от прилива, и тогда становится понятнее, что имел в виду Шнитке.

Издалеку теплее

Учителя моей грешной жизни дрались до первой крови.
Но если что, доставали перья и шли до конца.
Потому что до этого они выживали в оккупации, сбегали из детдома, сидели, служили, ходили в море.

За каким-то чертом меня малолетку занесло в техникум, где они учились. И понеслось.
Салагу они «прописали» в общаге стаканом водки, горбушкой и луком.
Показали первые аккорды.
Валера Огнев, сидя за спиной, накладывал каждый мой палец на определенный лад.
Струны врезались в кожу, как ножи, не заснешь ночью.
С гитарой было легче понравиться девочке с третьего курса. Но после исполнения ей песни о геологах, выяснилось, что девочка встречается с ревнивым боксером.

Тогда учителя велели надеть перчатки, и мною занялся Степан.
Он показывал, как вести себя, когда назревает драка. Как нанести удар первым, уходить от удара и смываться, если атас.
Через год Сурен обучил меня выигрывать в карты и домино.
Сергея – подкидывать заячий хвост на свинчатке до сотни раз, метать ножички.
Лёнька – добывать еду.
Голодного кота пускали через отдушину на склад, он намертво цеплялся в сосиски, его вытаскивали за верёвку и заставляли делиться добычей.
Или как ловить кур на удочку, угонять мопед, собирать приемник в мыльнице, грамотно спрыгивать с подножки товарняка или ездить зайцем хоть до Владивостока.

Издалеку мерещится, что там было теплее, надежнее, искреннее.
Глаза блестели как у котов, водка не разбирала. «Беломор», «Прима», потом болгарские, албанские – да хоть обкурись в своей общаге!
Шевелюру бриолином, волосы на пробор и к девчонке. А обратно через весь город, еще до трамваев.
Счастье вот какое: нацелуешься до тошноты, всё болит, бежишь вприпрыжку, катишься по мартовскому ледку, он трещит, да хлоп на задницу, и ржешь.
Снова не дали? Потом дадут! Еще и упрашивать будут.

Завтра в клубе играем. Придешь? Приду!
Мне четырнадцать.
Я такой салага конопатый со своей ленинградской помповой трубой. А вокруг наши, джаз-бэнд «Огонек»: Валерка, Иштван, Рома, Лешка, Семен, Саня за фоно.
Лабали так, что девушки визжали, будто мы Битлы.

Доверено мне было соло, когда играли «Вишнёвый сад».
Завывала труба.
Гремели барабаны.
А потом эта жизнь испарилась незаметно, будто ее и не бывало вовсе.
Одни фотографии остались.

Однажды в праздник, когда все пошли на митинг, мрачный Валерка засобирался домой. После смерти отца сестренка осталась на руках у больной матери: не до учебы...

Мы еще когда-нибудь встретимся?..

Огнев сказал, что врать не хочет, но писать письма не станет.

Еще он сказал: учись быть один.

Скрип-скрип

Ну, что, пап?

Далеко ли до нашего дома под крышей из дранки? Не очень? Если ночь поездом, а там на попутках по дороге, где грузовику кланяются ели в снегу, – вот и деревня.

Скрип-скрип по дорожке, прислониться лбом к стеклу.

И вот там ты, кудрявый, черноволосый, гвардии капитан, еще не умерший в госпитале Рижской еврейской общины.

И сестра Наташа на качалке.

И красивая мама у зеркала с губной помадой.

И я, рыжий придурок, в твоей фуражке с маминой котиковой муфтой.

Морозно.

А у вас там, в абажурном мире, натоплено – стол с гусем, бокалы, вино, пирог.

И елка с вечными игрушками 1955 года...

Вообще-то, пап, если набросишь шинельку и выйдешь покурить – я тут, вот он, под рябиной, которую ты сажал после войны.

Только не пугайся – старше тебя, уже башка седая.

Как-то вот научился прыгать по кочкам времени. Забираться к тебе на колени, тереться носом о портупею, трогать звездочки на погонах...

Но пока мы вместе, и все еще впереди.

Блюз в пустыне

Инструмент продаю не такой роскошный, конечно, как Amati.
Купил в Андижане на съемках.
Но все-таки добротный и мой. Из страны ГДР.
Труба есть, а страны нет. Такие дела.

Будущего нету, прошлое прошло.

В прошлом я играл в пустыне, меня слушали верблюды и тарантулы.
Мои блюзы, наверное, еще качаются над черными дорогами Азии.

Прощай, моя труба.

Надеюсь, тебя купят, и ты снова оживешь в руках какого-нибудь пацана, мечтающего сыграть, как Марсалис.

И у пацана тоже сначала ни хрена не получится.

Но потом он заметит, как при первых звуках его трубы к нему будут прислушиваться птицы.

Еще ему начнут прощать обиды женщины, станут ластиться к ногам дикие звери.

Тогда и поймет, что к чему...

Кари

Сначала ее взяли в семью художников и полюбили. Но у ребёнка оказалась аллергия на шерсть. Пришлось отдавать. Тогда позвонили мне.

Едва я вошел в прихожую, она сразу бросилась ко мне с объятиями и поцелуями. Будто мы родня, и вот просто давно не виделись.

Приятель молвил: ладно, ладно... Капризная дамочка. Сколь красива, столь и глупа. Намаешься с ней.

Через неделю рыжая девчонка навёрчивала круги по ипподрому, но являлась на свист, как Сивка-Бурка.

Она ходила без поводка, что весьма странно для афганки. Это удивляло и соседа, гулявшего с двумя афганцами на поводке. Лишь раз, обернувшись, я не увидел свою рыжую девочку. Подумал, заблудилась. Но накрапывал дождь, и собака решила, что благоразумнее вернуться к подъезду.

Сказали, нужен намордник. Перед метро я ей даже не надел, а только показал его, и она заплакала от унижения.

Она четко говорила «мама». Обожала звук моей трубы и губной гармошки. Мы с нею дуэтом пели под гитару, ездили в гости. С переднего сиденья машины ее принимали за блондинку.

Карюшку столько раз называли красавицей, что она серьезно полагала, будто ее так зовут. И клянусь, между ушами у нее пахло духами «Шанель №5».

Если я тупо сидел перед монитором, не мог выжать из себя ни одной строчки, она подходила, заглядывала в глаза и укладывала голову на колени: не волнуйся, всё у тебя получится.

Когда же при ней читали негодные стихи, Кари поднималась с ковра, где возлежала с достоинством княжны, но не кусала автора. Даже известного. Она никого не кусала. В знак неодобрения она гремела миской, выла, фыркала и, если не помогало, удалялась в кабинет.

Как-то мы с ней одновременно прихворнули на нетопленной даче. И Карюша, едва согревшись, притащила мне в зубах полушубок, которым я ее же и укрывал...

Она была мне сестра. Она прожила чуть ли не две собачьих жизни.

Ушла жена. Собака осталась.

А когда она перебралась в другой мир, – Карюша, лучшая собака жизни моей, – я поставил свечку и попросил Святого Франциска позаботиться о ее душе. Святой Франциск наверняка сдержал слово, но перестарался, потому что с тех пор я не могу завести собаку.

Слушать

Боковое верхнее возле туалета.

Берете?..

«Веселится и ликует весь народ...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.